

Надгробная надпись 24

ИС. ГОЛЬДБЕРГ

ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ



РАССКАЗЫ

■■■■
БИБЛИОТЕКА
„ОГОНЕК“

№ 206

АКЦ. ИЗД. О-ВО
„ОГОНЕК“
МОСКВА — 1926

О. ГЕНРИ
ПРИНЦ ИЗ СКАЗКИ
РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

А. ЗУЕВ.
ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ
РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

МАРСЕЛЬ МАРТИНЭ
ПРОКЛЯТЫЕ ГОДЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

Д. ФРИДМАН
МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ
МЕНЯЕТ
КВАРТИРУ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

Л. БЛЯХИН
БОЛЬШЕВИК
МАМЕДКА



КИНО РАССКАЗ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

АЛ. ЯКОВЛЕВ
ЖЕНЩИНА ПОД ПОЧТОВЫМ
РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

Д. ФРИДМАН
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МЕНДЕЛЯ МАРАНЦА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

ЕФИМ ЗОЗУЛЯ
ВЕСЕННИЕ РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968



Л. НИКУЛИН
ПРОТИВНЫЙ
СЛУЧАЙ

ФИЛИАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ИЗБРАННЫЕ
СТИХИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

МАРК КОЛОСОВ
КОМСОМОЛЬСКИЕ
РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

АРК. АВЕРЧЕНКО
ЧЕЛОВЕК ЗА ШИРМОЙ



РАССКАЗЫ
О НАСТЯЖИХ
ДЛЯ
БОЛЬШИХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

МАРК ТВЭН
ПОЧЕМУ Я ПОПАЛ В ОТСТАВКУ
РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

ПАНТЕЛЕЙМОН
РОМАНОВ
ЮРИСТИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

В. ГЕРЦОГ
ЗАПИСКИ МЕЖДУПЛУБНОГО
ПАССАЖИРА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

КОНРАД БЕРКОВИЧИ



РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАДИО»
№ 123
МОСКВА - 1968

ИС. ГОЛЬДБЕРГ



ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ

Акционерное Издательское О-во „ОГОНЕК“
МОСКВА — 1926



Отпечатано
В Типо-лит. Аяц. Изд. О-ва
„ОГОНЕК“. Москва,
Сретенка, Последний пер., д. 2Б
Тираж 13.000
Главлит № 70813



ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ

I

— Парнишка, а, парнишка!

В весеннем гулком воздухе этот окрик прозвучал ломко и неожиданно. Кешка вздрогнул и оглянулся.

На поляну, еще влажную от недавно стаявшего снега, из еловой рощицы, тихо сгрудившейся у пригорка, вышел человек. Затасканный короткий полушубок солдатского образца, рваная шалка ушанка, на ногах заплатанные ичиги. Но на плече, на желтом ремне ловко сидит винтовка и весь пояс укрыт под подсумками, а грудь перекрестили две ленты, усаженные поблескивающими патронами. Кешка, было, сразу оробел, но набрался храбрости и, подражая старшим, солидно сказал:

— Чего тебе... парнишка?... Зачем кличешь?

Человек с ружьем усмехнулся и подошел вплотную к Кешке. На молодом еще, но измазанном грязью и копотью лице засветилась усмешка и сверкнул белый ряд крепких молодых зубов.

— Ты пошто такой сердитый? Здравствуй-ка! — И зако-
рузлая рука опустилась на Кешкино плечо.

— Из Максимовской?

Кешка мотнул головой:

— Оттуда.

— Чей будешь?

— Авдотьи... Вдовы. Батка позалонись умер... Агентием меня зовут.

— Грамотный?

Кешка гордо надулся:

— Второй год к учителю бегаю... По письму читать нынче начал.

— Здорово!—Веселая усмешка сильнее заиграла на запачканном лице и задорные серые глаза лукаво прищурились:

— А белые у вас еще валандаются?

— У нас. А ты...—и вдруг Кешка пугливо оглянулся вокруг на елки, на прошлогоднюю траву, еще не согретую как следует солнцем и еще не позеленевшую, точно боясь, что они подслушают его, и, подавшись ближе к человеку с ружьем, приглушенным голосом спросил:

— А ты из красных? Партизан?..

— Вот, вот, брат! Он самый!

— Видал ты!..—Оживился Кешка:—То-то у тебя ружжо такое ладное... и патроны.. Стреляет, поди, здорово!—и он робко и почтительно потрогал ремень и приклад ружья.

Потом Кешка вдруг нахмурился и, опять оглянувшись кругом, как будто елочка все-таки не внушала ему доверия, опасливо сказал:

— Тебя бы, паря, не поймали те, белые... Ух, и злые они...

— Шибко злые, говоришь?

— Не дай бог! Поймают—так сразу из ружей застрелят. Да тебя—спохватился Кешка—не поймают!

Человек с ружьем удивленно поглядел на Кешку:

— Почему ты знаешь?

— Да у тебя ружжо. Ты сам сердитый. Сам отстреляешься.

Кешка говорил важно, толково, но взглянул на человека с ружьем, а у того глаза так заразительно искрятся задорным смехом, что у него самого заерзал круглый подбородок и все курносое пухлое лицо задергалось от отраженного веселья—и он прыснул. И так, поглядывая один на другого, они стояли и пересмеивались беспричинно веселые, налитые задором, который словно излучался от всего: и от ясного неба, и от елочек, которым Кешка еще минуту назад так не доверял, и от травы, которая скоро-скоро зазеленеет и расцветится весенней радостью.

Человек с ружьем, не переставая улыбаться, опустился на кочку, топорщившуюся прошлогодней травой, и стал шарить за пазухой кисет с табаком.

— Садись!—мотнул он головой Кешке:—Садись, Кеха, потолкуем!

И оба снова беспричинно засмеялись.

— Ты мне, Кеха, спервоначалу скажи: язык за зубами ты умеешь держать?—спросил человек с ружьем, старательно сворачивая из газетной измятой и измаранной бумаги сигарку:—Болтать на деревне не станешь?

— Нет!—надулся Кешка:—Я, брат, не маленький... Понимаю.

— То-то!—стряхивая крошки махорки с колен, удовлетворенно сказал человек с ружьем, и лицо его снова осветилось ласковой и веселой усмешкой.—Ну, так ты вот что мне Расскажи, Кеха...

И он стал обстоятельно и толково расспрашивать Кешку о его деревне, о мужиках, о лошадях, а потом, словно не-

взначай, о солдатах, которые вот уже вторую неделю почему-то стоят постоем почти в каждой избе... Кешка слушал и охотно отвечал.

Человек с ружьем покуривал цигарку, мотал головою и время от времени солнечно улыбался...

II

Авдотьиная изба стояла недалеко от церкви, на пригорке, среди богатых домов. До смерти Степана, Кешкиного отца, семья жила зажиточно и сыто. Изба была пятистенная, на две половины. Раньше ее занимали целиком сами: в одной половине жили бесхитростной, но прочной крестьянской жизнью, другая же, чистая, стояла прибранная от праздника до праздника, восхищая бобылей и бедняков простеночным зеркалом, гнутым диваном и затейливой громоздкой керосиновой лампой.

Но со смертью Степана ушли из дома довольство и сытость, и теперь эта половина отошла под земскую квартиру, которая кормила Авдотью и ее двух детей—десятилетнего Кешку и тринадцатилетнюю Палашку.

Каждый наезд начальства приносил Авдотье и Палашке много беспокойства, но вместе с тем давал ей лишний заработок теми чаевыми, которые перепадали ей, а особенно бойкой и лукавоглазой Палашке.

Но в самое последнее время, вот с тех пор, как в далеком губернском городе, куда увезли однажды мобилизованных парней, завелось что-то темное и беспокойное, с тех пор, как часть этих парней убежала из грязных, нетопленых казарм в сырые пахучие дебри тайги, Авдотьиная чи-

стая половина была заселена постоянными жильцами. В Максимовское пригнали две роты солдат и начальство поселилось на земской квартире.

Для Авдотьи и Палашки началась страдная пора. Офицеры—а их было трое—поминутно гоняли их то с самоварами, то за молоком и яйцами на деревню. Вечерами, когда после дневных шатаний по деревне солдаты забирались в избы, где они потеснили хозяев, и там гнездились ко сну, Авдотьины постояльцы заведили игру в карты и до поздней ночи томили то ее, то Палашку личницами-глазуньями и розысками по соседям кислой капусты или соленых огурцов.

Кешка в этих хлопотах вертелся без пути. Его постояльцы пользовали порою днем, когда нужно было послать какую-нибудь записку к рыжему ефрейтору хохлу Охромёнке, почему-то поселившемуся на другом конце села. Поручения эти Кешке давал самый молодой из офицеров, Семен Степанович, который покрикивал на него полудобродушно, полустрого и часто невесело шутил с ним.

В первые дни, как пришли в Максимовское солдаты, деревня нахмурилась, насторожилась и стала как-то вся сразу на чеку. Мужики попрятались по избам, солдаты молча приглядывались к максимовцам и все как будто чего-то ждали. Да и максимовцы притаились и приготовились ждать—что из всего этого будет.

Кешку приход солдат обрадовал. Грозное оживление, которое они принесли с собою в село, серые группы их, слоняющиеся по широкой улице, и незнакомые странные повозки с какими-то еще более незнакомыми, еще более странными ящиками на них будили в нем волнующее любо-

пытство и заставляли его вертеться возле них, расспрашивать, слушать и глядеть широко открытыми глазами.

Вскоре Кешку знали уже почти все солдаты, а Охроменко начал его часто кой о чем расспрашивать.

Хитрый хохол, в говоре которого было мало малороссийских певучих тонов и который только изредка сбивался на хохлацкое произношение, ловил Кешку где-нибудь за избой, подалше от взрослых и расспрашивал как будто о пустяках, о чем-то нестоящем, но глаза его впивались в Кешку и точно буравчики сверлили его, и тот чувствовал безотчетную жуть, оставаясь один на один с ефрейтором.

— Ты, малый,—сказал Охроменко однажды, наступая на Кешку:—бачь мне правду... Бо в нас разговор краткий—врать будешь, отдеру, за правду же дам полтинник!..

А потом, приглушив свой резкий крикливый голос, прибавил:

— Старшой наш, Семен Степанович все знает. Лучше ты и не ври!..

И долго и пудно он тянул из Кешки жилы: ходил ли кто из „агитаторов“ в Максимовское до постоя солдат, где тот или другой из молодых мужиков, куда-то исчезнувших с приходом войск, где собираются молодые парни бунты обдумывать и прочее. Особенно Охроменко упирал на последнее:

— Я, малый, хорошо знаю, як парни собираются. Меня не проведешь. Не-ет. Только вот мне бы поглядеть хоть разок, где это они табуняются!..

Кешка ничего не знал и не мог ответить толково ни на один из вопросов. И это сердило хохла. Он кричал на парнишку, залугивал его, страдал офицерами, а то принимался

сулить Кешке гостинцев и всяких благ и старался быть ласковым, веселым и обходительным.

Охроменко при вечерних секретных рапортах Семену Степановичу жаловался на свои неудачи.

Офицер хмурился и ворчал.

— Ты, Охроменко, не умеешь контр-разведку ставить! Чего ты с мальчишками возишься?

— А как же, господин капитан! Из малого-то можно лучше, чем из взрослого, вытянуть... Малый, у его ум слабый: не сдержит, да выложит все, как есть...

— Что-то твой малый не многое тебе выкладывает.

— Так вин же болван!.. Но я из него вытяну! Я узнаю...

И глаза Охроменки делались острее, лицо багровело и широкий квадратный подбородок тупо и упрямо выдавался вперед.

После неожиданной встречи в лесу Кешка стал избегать Охроменки. У парнишки завелось свое какое-то дело и он стал еще больше тереться возле солдат, прислушиваться и приглядываться.

Но он прислушивался и приглядывался теперь не так, как прежде, до лесной встречи; теперь он словно впитывал в себя все то новое, что пришло в деревню с солдатами, и запоминал. Шныряя возле ящиков с патронами, он зубоскалил с часовым, который рад был побалагурить с озорным веселым парнишкой. И так, балуясь и играя, Кешка понемногу узнал сколько патронов в ящике и сколько всего ящиков привезли с собой нежданные гости в Максимовское. Шутя же и озорствуя, он узнал, что обе роты захватили

с собой сюда три пулемета. И даже точное число солдат не поленился подсчитать Кешка, бродя от избы к избе и пошвыривая камни и палки в облезлых, зевающих на весеннем солнышке, собак.

А потом как-то в дообеденное время, когда постояльцы на земской куда-то ушли на деревню, Кешка забрался к офицерам в комнату через окно и стащил лист бумаги и карандаш.

И в этот вечер долго возился он в кути, марая что-то, неуклюжими буквами выводя нелепые неясные цифры, при свете потухающего солнца, лучи которого лениво проползали через загрязненное окошко.

III

Утром Кешка урвался от матери, которая хотела заставить его исполнить какую-то работу, и ушел за деревню в сосновую рощицу, избежавшую на широкую релку. Там побродил он недолго меж вытянувшимися, как желтые свечи, соснами, похрустел стоптанными порыжелыми чирками прошлогодней травой и вышел на знакомую полянку.

На поляне было тихо. Желтела прошлогодняя трава, поблескивая тусклым золотом в утреннем солнце. Тянуло весенним холодком и влажностью.

Кешка потоптался на одном месте, крикнул, а потом зааукал.

На крик его сначала никто не отозвался. Кешка повторил его. Тогда с релки, с дальнего края ее, где она сливалась со склоном сопки, отозвался чей-то голос. А потом на поляну быстро вышел человек с ружьем.

— А, Кеха!..—весело, как старому знакомому, закричал он Кешке:—Пришел?

— Пришел!—радостно отозвался Кешка:—Я, брат, на слово крепкий!

— Крепкий!.. — расхохотался человек с ружьем: — Ну, здравствуй, Кеха, на слово крепкий! Рассказывай, что знаешь!

Они сели так же, как тогда, в первую встречу, рядом. Кешка разул левую ногу и вытряхнул из чирка скомканный клочок бумажки.

Человек с ружьем глядел на Кешку и ласковая, немного растроганная улыбка засветилась на его молодом лице.

— Молодчага...—тихо сказал он, беря записку:—Давай теперь разбирать твоё донесение!—И он снова засмеялся задорно, показывая крепкие белые зубы.

Разглаженная бумажка, на которой плясали хмельные буквы и цифры, слегка дрожала в руках человека с ружьем. Он с трудом разбирал Кешкину трамоту и поминутно спрашивался у того о значении того или иного знака. Когда вся записка была прочитана и Кешка дал подробные объяснения всему тому, что заприметил и чего не смог записать своими каракулями, человек с ружьем похлопал его по спине и спросил:

— А ты хвостов за собою, часом, не притащил сюда?

Кешка, было, не понял. Тогда человек с ружьем пояснил ему:

— За тобой никто на деревне не поглядывает? Из солдат тебя никто ни о чем не пытал?

Кешка рассказал об Охроменке.

— Так...—раздумчиво протянул человек с ружьем:—Надо, брат, нам с тобой поопасаться. Не люблю хохлов: хитры они больно, скрытны...

Потом, словно вспомнив о чем-то, он весело потряхнул головой и спросил Кешку:

— Большедворских знаешь?

— Каких—низовых, али верховских?

— Вот уж этого я и сам не знаю—рассмеялся человек с ружьем:—Про одних я слышал—про тех, у кого парня после рождества Колчак забрал.

— Это низовые—обрадовался Кешка:—у низовых Митрофана угнали, а он убежал из городу!

— Ну вот... они самые. Ты вот к Большедворским сходи, да потихоньку старику скажи, что Митрофан его поблизости бродит. Понял?

Кешку так и подбросило:

— С вами он?!.—догадался он и глаза его заблестели:—Поди недалеко?!

— С нами, с нами.

— А Тимшин Матвей?

— Тоже...

— А Тетерин Николай, Степша Митрохин, Егорша Максимовский?

— С нами, с нами!..

И Кешка высчитывал имена парней, которых так недавно забрали в солдаты и которые исчезли куда-то из казарм,—а человек с ружьем посмеивался и мотал головой:

— С нами, с нами!

И Кешке казалось, что вся деревня, весь мир с теми, там, откуда пришел этот веселый человек с ружьем, такой крепкий, ладный и смешливый.

Потом человек с ружьем рассказал Кешке, что нужно ему сделать в ближайшие три дня, в которые он не велел выходить ему из деревни. И на прощанье сказал:

— Ты, гляди, хвостов сюда не приволоки за собой. Хохла своего опасайся. Дурачком прикинься, да не вздумай хитрить: он хитрее тебя, глядишь — и поймает. А если он как-нибудь заметит что за тобой, да станет поглядывать, да выслеживать, ты старику Большедворскому скажи... пусть он придет в Лиственичную надь и станет там сушняк собирать, там он уж сам увидит да поймет. Понял?

Кешка мотнул головой.

— Ну, ступай — сказал человек с ружьем, подымаясь с земли, и странно взглянул на Кешку: — Не надо бы тебя пугать в эту кашу, да вот видишь — судьба такая... Будешь ты у нас службой связи...

IV

В эти три дня Кешка обделал все, что ему заказал человек с ружьем. Старик Большедворский, выслушав Кешку за гумном, перекрестил его, затряс пожелтевшей бородой и сказал:

— Побереги голову, Кеха, побереги, родимый!

И у Кешки от этой неожиданной ласки сурового замкнутого старика стало как-то тепло на сердце и он стыдливо зарделся.

В других семьях опасливо ахали и вздыхали и все уговаривали Кешку не болтать. Но Кешка обидчиво смолкал и гордо закидывал голову, встряхивая белокурыми взлохмаченными волосами:

— Я знаю.. Вы-то помалкивайте.

К концу третьего дня Охроменко, который уже давно не трогал почему-то Кешку, вдруг поймал его после ужина на пороге избы и сладко заулыбался:

— Ты, малый, пойдем со мной чай пить с лампасе.

Кешка, помня наказ человека с ружьем, хотел было увильнуть, но Охроменко положил шаршавую тяжелую руку на Кешкино плечо и потянул его за собой:

— Пойдем, пойдем! Лампасе сладкий, чай китайский! Побалую тебя!...

В чистой горенке у лавочника, где Охроменко облюбовал себе логово, он усадил Кешку за стол и начал угощать его чаем и сладостями. Кешке было неловко, он обжигался горячим чаем, который хлебал с блюдечка, но конфеты весело хрустели под его зубами, а мягкий пшеничный калач исчезал с невероятной быстротой.

Сначала Охроменко молчал и солидно пил чай, посасывая и дую в блюдце. Но после второй чашки он искоса поглядел на Кешку и словно незначай сказал:

— Нынче я уеду в город, малый.

Кешка оживился:

— Один?

Охроменко взял в руки отставленное блюдце, обмакнул в чай конфетку и не торопясь ответил:

— Нет, возьму с собой команду...

Он отхлебнул из блюдца и стал обсасывать конфетку, но глаза его сбоку впелись в Кешку, и весь он насторожился.

Кешка заерзал на лавке.

— Надолго поедешь-то?—несмело спросил он.

Охроменко с видимой охотой ответил:

— Ден на пять, а то и на всю неделю.

У Кешки отчего-то стало весело на сердце и он безотчетно засмеялся.

— Ты, что это?—вахмурился Охроменко:—чему смеешься?

Кешка сконфузился.

— Так я...

— То-то!..— в голосе Охроменки прозвучала какая-то жестокая угроза. Но он спохватился, вспомнив о чем-то, налил Кешке еще чаю, придвинул к нему калач и бросил возле его чашки несколько конфеток.

— Пей, пей!

Кешка уткнулся в чай. Охроменко снова взял блюдце растопыренными пальцами и медленно дул в него. Так молча пили они чай, и не было ничего необычного и странного в том, что громоздкий, весь квадратный, пожилой солдат делил компанию с пустрым светлоглазым и светловолосым мальчишкой.

В горенке было тихо, маленькая лампочка слабо освещала стол, отражаясь огнями в самоваре и чашках и оставляя углы в мягких сумерках. На хозяйской половине плакал ребенок и чей-то бабий голос уныло тянул:

— Ну-у, дититко!.. Ну же!..

Внезпно Охроменко грузно поднялся с лавки:

— Нанился?—отрывисто спросил он Кешку.

Тот торопливо отодвинул чашку и мотнул головой.

— Ну, ступай домой. Дела у меня до городу-то.

Кешка вылез из-за стола; по привычке перекрестился на поблескивавшие в углу иконы и поблагодарил солдата за угощение.

— Не на чем, не на чем!—буркнул Охроменко, но вдруг прищурился и хитро сказал:

— Я тебе, малый, гостинцев из городу привезу.

— Спасибо, диденька!—смущенно поблагодарил Кешка.

Дома, укладываясь на лежанку, Кешка долго ворочался. Он что-то все силился сообразить, но никак не мог. Где-то

в уголке его сердца ныла какая-то неиспытанная еще им боль, а в голову лезли непонятные, неуловимые, потрешливые мысли.

Засыпая, Кешка видел перед собою то хитро прищуривающегося Охроменку, то человека с ружьем, который предостерегающе грозил пальцем и что-то говорил, чего Кешка не мог ни понять, ни расслышать.

А на чистой половине на земской, у офицеров поздно ночью сидел на краешке стула Охроменко и длинно и запутанно что-то рассказывал внимательно слушающему начальству. Порою Охроменку перебивал Семен Степанович, вставляя какое-нибудь замечание, и тогда Охроменко почтительно хихикал, прикрывал широкой волосатой рукой свои пожелтевшие зубы, вливаясь в офицера преданным взглядом.

Под конец офицерам, видимо, надоело слушать Охроменку. Семен Степанович зевнул и кинул:

— Ну, следи... старайся!..

— Да я изо всех сил стараюсь!—встреонулся Охроменко.

— Ладно, ладно... Только, пожалуй, зря ты все это. Никаких красных поблизости здесь нет. Ты это от усердия, Охроменко...

— Так точно, от усердия!.. Насчет красных, так беспрерывно вони тут где-нибудь бродят...

— Ну, ну, ищи!..

V

В назначенное время Кешка легко и беспечно бежал на поляну. В бурой траве уже ожили пострелы, поблескивая своими крупными бледными чашечками, а на склонах лиловел багульник, радуя пришедшей весною, помолодевшей землею и радостью, что приходит с концом апреля.

Кешка впитывал в себя эту десятую весну свою, с которой, знал он, придет обычное деревенское оживление. Он складывал в уме, что вот уже на близкие лужайки можно коней гнать в ночное, а за узеньким озерцом, наверное, пожелтевшая земля выбросила нежный полевой лук. Он деловито соображал, что скоро-скоро мать погонит его кружиться на гнетке по вспаханной полосе, волоча поскрипывающую борону, и будет он покрикивать по-мужицки на лошадь, а вечером, в избе, мать станет ладить ему паужий, как работнику, который натрудил спину за день-деньской и которого нужно убаготворить.

Легкие, привычные мысли нес с собой Кешка, скользя меж тихими, нарядными соснами. Словно крылья выросли за его плечами, так легко и радостно было идти в ясном и ласковом безмолвии леса.

Выйдя на полянку, Кешка оглянулся и хотел крикнуть. Но кто-то тихо окликнул его.

— Тише Кешка!..

И рядом с ним вынырнул Митрофан Большедворский.

— Митроха!—вскрикнул Кешка, не умея сдержать радостного удивления.

— Да молчи ты, оглашенный!—сердито зашептал Митрофан:—Ведь за тобой солдат от самой деревни поглядывает.

— Солдат?—Кешка изумленно вытаращил глаза, в которых еще не угасла радость солнца и встречи с Митрофаном.

— Постой!.. Молчи!..—зашептал Митрофан и припал к земле.—Вон он меж сосен-то!..

Кешка оглянулся и увидел вдали осторожно пробирающегося меж соснами, прячущегося за ними и поглядывающего

по сторонам, солдата. В коренастой, нескладной фигуре и в желтой шапке его Кешка почувствовал что-то знакомое.

— Охроменко?!—оторопело сообразил он.

Но солдат притаился где-то за сосной и пропал.

Митрофан потрогал Кешку за ногу и тихо сказал:

— Влипли мы с тобой.. Ты, слушай, паря: тебе беспреренно надо в деревню обратно пробраться. Да так, чтоб солдат не доглядел. Там батьке моему да Тетериным братованам скажи... Ты только запомни хорошенько: пушпай они за пулеметами глядят. Они поймут, они знают в чем тут штука... Не перепутаешь?

— Нет!—тихо, но уверенно ответил Кешка:— не перепутаю.

— И еще, Кеха... как что в деревне случится, ты гони сюда. Да только помни — теперь за тобой следить будут, ежели доследит—ни тебе не одобровать, да и нам кой-кому неладно будет...

— Я понимаю!—тревожно уронил Кешка и поглядел в ту сторону, где сторожил солдат. Фигура того мелькнула где-то дальше меж сосен. Видимо, солдат потерял Кешку из виду.

Митрофан перевернулся с боку на бок и осторожно вытащил из-за голенища ичигов отточенный ножик.

— На вот тебе, в тальниках прутьев для виду нарежешь. Авось, обманешь соглядата-то. А теперь иди, Кеха, потихоньку по релке на сопку. Да виду не показывай, что чуешь за собой солдата... Иди, Кеха, дело, брат, шибко серьезное... ты не робей только!

— Да я не робею!—нерешительно протянул Кешка и где-то в его маленьком сердчишке дрогнула впервые за его короткую неомраченную жизнь жуткая тревога.

ное обнаженное старческое тело, видел, как солдат с цыганским лицом засучил рукава и пробовал железные прутья, со слабым свистом рассекая ими воздух. И дальше видел он, как старика повалили на лавку, насели двое—один на голову, другой на ноги—и как опустился первый удар железного, сверкнувшего на солнце прута, на старое беспомощное тело. И успел услышать он глухой стон и усилившиеся вопли баб, и хохот, громкий, смачный хохот, прерываемый матерной руганью. Но больше уж ничего не смог он увидеть и услышать: он скатился с вышки в задний двор, поднялся на ноги и, ничего не помня, ничего не соображая, кинулся бежать.

А вслед за ним неслись вопли, стоны, и хохот, и хохот..

VII

Остановился он только на знакомой полянке, куда увлекло его бессознательное чутье. Здесь он вдруг почувствовал слабость, опустился на землю и заплакал.

Слезы рвались наружу, сотрясая все его маленькое тело. Слезы душили его и он бился о колючую землю, вскрикивая и захлебываясь. Внезапно откуда-то накатился на него незнакомый, еще никогда не испытанный страх. И этот страх обессилил его: нужно вот подняться, вскочить на ноги, бежать,—нужно, но не может он и бьется его тело, приминая шуршащую прошлогоднюю траву и робкие, молодые, чуть приметные новые побеги. Небывалым и диким встает перед глазами трясущаяся изжелта-седая борода, обнаженное темное стариковское тело и сверкающий взмах шомпола. И в ушах звенят дикие бабьи вопли и глухие стоны..

В плаче Кешка забылся. И не расслышал он, как подошли к нему, как остановились удивленные лесные знакомцы его. И только когда кто-то потряс его за плечо, вскочил он, обожженный испугом, готовый кричать дико и неумно. Но сразу притих и размяк: трое с ружьями обступили его и среди них тот, молодой, смеющийся, сверкающая улыбка которого обрадовала когда-то Кешку в безмолвии и покое весеннего утра.

— Ты чего это, Кеха?.. участливо и встревоженно спрашивал, наклоняясь над ним, человек с ружьем:

— Что случилось? О чем ты плачешь, парень?

Кешка приподнялся с земли. Он отер кулаком заплаканное грязное лицо и, всхлипывая, сбивчиво стал рассказывать, что случилось.

Трое, окружив его, опершись на ружья, молча слушали. Изредка человек с ружьем задавал Кешке какой-нибудь вопрос и, выслушав ответ, глядел куда-то, поверх Кешкиной головы, словно видел вдали что-то невидимое другим. Его лицо не улыбалось и серые, всегда насмешливые и ласковые глаза потемнели и над ними сдвинулись в тижком раздумьи брови.

— Сволочи!!—сквозь стиснутые зубы кинул он, когда Кешка рассказал все, что обожгло его страхом и болью.

— Что же нам с ним делать?—обернулся он к своим товарищам:—В деревню ему возвращаться не след.

— Я не пойду туда!—встребенулся Кешка:—Я, дяденька, с вами останусь.

Человек с ружьем хмуро усмехнулся:

— Рано тебе с нами... Куда ты, парень, в огонь полезешь...

— Надо его в тыл отвести,—сказал один из спутников человека с ружьем.—Пуцай там с кашеваром болтается.

Но Кешка вдруг сразу ожил. Еще блестели невысохшие слезы на его лице, но глаза его загорелись и словно новая сила вливалась в него.

— Я с вами, дяденька... Дайте мне ружжо! Я бить их пойду, дяденька!.. Возьмите меня с собой...

Один из пришедших вскинул винтовку за плечо и легонько толкнул Кешку в спину:

— Пойдем-ка, паря. Там тебе лучше будет...

И человек с ружьем, в котором Кешка уж давно угадывал начальника, которого другие слушаются и которому все подчинены, тоже вскинул винтовку за плечо, подтянул ремень патронташа и пошел вперед, к лесной опушке. Следом за ним пошли и остальные.

И когда вступили в лес, туда, откуда раньше выходил навстречу Кешке человек с ружьем, то увидел Кешка, что безмолвие леса обманчиво, что всюду за деревьями притаились вооруженные люди, которые молча пропускали мимо себя Кешку и его спутников и которым человек с ружьем что-то тихо и коротко говорил.

Кешка хотел сосчитать этих вооруженных людей, но не мог. Он видел только, что все они безмолвны и сосредоточены, что ждут они чего-то и что два-три слова, сказанные им на ходу человеком с ружьем, делают их еще суровей, еще сосредоточенней.

За дальним ельником, куда Кешка редко забегал в своих бездумных детских скитаньях, раздвинулась новая полянка. На притоптанной земле были разбросаны ружья, ящики, а в стороне дымился костер с навешенным над ним большим черным котлом. Возле котла суеился старик.

Приведшие Кешку крикнули старику:

— Дядя Федот! Прймай партизана!

Старик поманил Кешку к себе.

На поляну стали сходитья люди. Они подходили к человеку с ружьем и что-то рассказывали ему. А он, выслушав каждого, кивал головой и был чем-то доволен.

И здесь только услышал Кешка, как зовут этого человека с ружьем, у которого насмешливые и вместе с тем веселые глаза, у которого все лицо яснеет от сверкающей светлой улыбки:

— Товарищ Герасим!

Дядя Федот усадил Кешку у костра, налил ему в плошку похлебки и дал ломоть хлеба, круто посоленного крупной, хрустящей солью.

— Ешь, парнишка, ешь.

Кешка вдруг почувствовал, что он очень голоден и с жадностью накинулся на еду. Старик глядел на него, дымя трубкой, и качал головой.

С едой Кешка забыл про все недавно пережитое. Он чувствовал приятную теплоту во всем теле и только какая-то сладкая усталость охватывала его голову и клонила ко сну.

И словно сквозь сон видел он, как подошел к нему товарищ Герасим, как сказал он что-то старику. Дядя Федот встрепенулся, шагнул к человеку с ружьем. И успел увидеть Кешка, что дядя Федот прильнул к товарищу Герасиму, что-то сказал ему и торопливо перекрестил его.

А потом мягкая нежная пелена тихо накрыла Кешку и отодвинула от него куда-то за тридевять земель и лес, и костер, и вооруженных людей...

Проснулся он от какого-то непривычного шума. Кругом направились сумерки. Костер догорал. Дядя Федот стоял вдали черной тенью, неподвижный, застывший.

Кешка слышал какие-то гулкие дробные удары, какой-то мерный треск, какой-то гул. Все это шло со стороны Максимовского.

— Дяденька, что это?! — вскочил Кешка и подбежал к старику.

— А, проснулся! — Старик на мгновение оглянулся на Кешку, а затем снова обернулся туда, откуда разрастались, крепили и зловеще усиливались звуки: — А это, паренек, стреляют! Наши пошли белых выбивать из деревни. Слышишь — залпами бухают — это наши. А вот тарыхтит — это пулемет. Им белые орудуют... Три у них было пулемета-то, да два-то мужики попортили... Слышишь, слышишь, как жарят!..

Кешка слушал и его охватывал страх. Он слышал, как усиливалась пальба, как сливались в сплошной грохот ружейные залпы и безостановочный треск пулемета.

Внезапно над лесом сверкнула светлая полоса, словно зарница. Раздался сильный гул. Дядя Федот крикнул и довольно засмеялся.

— Ага! Это наши! у белых патроны подожгли! Молодчага товарищ Герасим! Ловко он все это удумал!

На место погасшей зарницы над островами лиственней и елей заколыхалось зарево, которое стало быстро расти.

— Дяденька! — в испуге крикнул Кешка: — это Максимовское наше горит!.. — гляди-ка, занялось!..

Старик покрутил головой. Зарево охватило полнеба. Багровые полосы зловеще впились в белый отблеск пожара.

Пальба усиливалась...

VIII

Дядя Федот вдруг засуетился. Он порылся в куче вещей, прибранных к сторонке, вытащил какую-то сумку, одел ее на себя, подобрал ружье и патронташ. Затоптал потухавший костер и, выколотив, сунул свою трубку за пазуху.

— Ты куда, дяденька?— испуганно спросил его Кешка.

— Туда, паренек, надобно мне... к ребятам. Вишь, оказия какая там пошла... Нужно и мне туда податься.

— Я пойду с тобой, дяденька!— в голосе у Кешки зазвенели слезы:— Я пойду!?

— Куда ты! Еще убьют тебя!

— Я пойду... я пойду, дяденька!

Кешку охватило какое-то болезненное нетерпение. В его голосе прорывались рыдания.

Дядя Федот покрутил головой и задумчиво сказал:

— Да и виришь— не оставлять тебя, куренка, одного... Пойдем, коли судьба тебе такая...

Они пошли навстречу зареву, навстречу грохоту сражения.

И с каждым их шагом вперед пальба становилась слышней и оглушительней, и с каждым шагом зарево разгоралось ярче и багровее.

Они долго шли, молчаливые, слушающие, чего-то ждущие. Вдали засветлела знакомая Кешке поляна. За нею лес, озаренный заревом. А там, совсем близко, деревня, и в ней бушующий огонь, выстрелы, грохот и кровь...

Лес словно ожил, верхушки деревьев, облитые трепетным светом, казались живыми. Чудились новые шорохи и шопоты меж стволами, у травы. Гул перестрелки, долетая сюда,

рассыпался на тысячи неуловимых, колеблющихся, блуждающих звуков. Словно вылезли из тайных недр леса его темные невидимые обитатели и теперь бродят от ели к ели, от лиственницы к лиственнице, стелются по земле, ползут отовсюду, сходятся, расходятся и шепчут, перекликаются, тихо смеются...

Кешка жался к дяде Федоту и пугливо озирался кругом. Он слышал лесные шорохи, и его маленькое сердце вздрагивало от испуга.

Вдруг в шорохи и шопоты леса вылезся новый звук. Где-то совсем близко кто-то простонал.

Старик приостановился. Послушал; стоп повторился.

— Кто тут есть живой?—глухо спросил дядя Федот.

— Помогите!.. Кровью изошелся...

Совсем недалеко, в стороне, прислонившись к дереву, чернел кто-то.

— Чей ты?—наклонился над раненым дядя Федот.

Зарево вспыхнуло ярче, отблески его поползли от вершин вниз и озарили дядю Федота, раненого и Кешку.

— Дядя Федот! — радостно встрепенулся раненый: — Вот какой мне фарт... Перевязки-ка меня чем ни на есть... Ишь, кровь как хлещет. Совсем я замирать стал.

Дядя Федот узнал раненого, расстегнул свою сумку, вытащил из нее бинты и стал неуклюже по-мужицки перевязывать окровавленную рану.

Раненый вскрикивал от боли, но бодрился. Видимо приход своего человека обрадовал его, влил в него силы.

— Ты, никак, Силантий!?—онозил его дядя Федот, палаточная перевязка;—Я, брат, тебя не сразу и признал.

— Силантий, Силантий,—закивал тот.

— А как наши?

Раненый оживился.

— Слышь, выбили мы белых из села... Так шарахнули, так шарахнули!.. Да и наших полегло здорово... Пулемет, вишь, у белых... Как зачал косить—у нас так цепь цепью и полегла. А теперь мы их отогнали, на ту сторону... Скоро им конец придет...

Кешка слушал торопливый, прерываемый глухими вскриками от боли, рассказ, и в нем загорелась дикая радость.

Но вдруг эта радость дрогнула.

— А как товарищ Герасим?

Раненый вдохнул глубоко, словно простонал.

— Товарища Герасима, слышь, подстрелили сволочи...

— Подстрелили!?

Смертельно испуганной птицей вырвался одновременно этот возглас и у Кешки и у дяди Федота.

— Подстрелили!?. Умер!?

— Жив еще был, когда я полз сюда... Да, видно, плохо ему.

Бродили отсветы по верхушкам елей, лиственей, выхватывая из тьмы пышную шапку сосен или одинокую березку. Ползли со всех сторон шорохи и шопоты. Стрельба замирала. Уж замолк пулемет и только время от времени трещали ружейные залпы и одиночные выстрелы.

Там впереди затихало. Только багровые крылья зарева трепетали на небе: огненная птица, распластанная по земле, тщетно силилась подняться в высь и лишь бороздила небо своими беспомощными крыльями.

Детский, прерывистый плач взвился к небу острой жалобой.

Уткнувшись лицом в колени, Кешка рыдал. Откуда-то нахлынули слезы, откуда-то пришла боль. Трепетало его маленькое сердце, переполненное всем, что свершалось кругом, и что было ему не по силам. Набегали слезы, сотрясая все его маленькое, еще неокрепшее, детское тело.

Откуда шли слезы? Откуда шла боль? Быть может, оттуда, где окровавлен небосклон, где земля изранена и взрыжена насилем. Быть может, от этих замирающих звуков сражения—пришли эти слезы, эта боль. Или, может быть, обожгли они еще и тогда, когда, глумливо улюлюкая, секли кровавыми железными розгами старческое тело, и дико и незабываемо выл старый седой человек? Или от погасшей навсегда ясной и веселой усмешки человека с ружьем так больно трепещет теперь маленькое сердце?

Откуда пришли эти слезы, эта боль?!

Кешка плакал. Дядя Федот хмуро оперся о ружье, раненый Силантий замолк, словно забыл о своей боли, о своей кровоточащей ране.

Оба они слушали Кешкин плач. И, быть может, оба, по виду невозмутимые, притихшие, не могли они выплакать кровавые слезы свои, и рады были больною, тоскливою радостью, что Кешка выплачет и за них все свои детские, чистые, бесценные слезы.

Оба слушали. И в жалобном лепете и вскриках Кешки слышали они великую скорбь о том, что багровым, кроваво-огненным полымем охвачено полнеба, полмира, о том, что в муках рождается новая жизнь, о том, что злобой и кровью пропиталась земля...

А кровавые крылья огненной, но смертельно раненой птицы в агонии чертили небо, и трепетным светом напол-

нялся лес, полный шорохов, шопотов и чьих-то тихих стонов...

— Пойдем! — очнулся от горького раздумья дядя Федот и ласково тронул Кешку за рукав: — Пойдем, паренек, будя..

И мягкие, непривычные звуки задрожали в его голосе.

— Будя плакать-то! — продолжал он: — спрячь слезы... спрячь!

Кешка затих. Всклинывая, поднялся он на ноги. Скорбные складки легли в уголках рта; на детском лице застыла не детская, новая печаль.

— Пойдем, дяденька! — хрипло сказал он и вздрагивали его губы.

— Ты, Силантий, погоди здесь покада рассветает... Мы туды пойдем.

Дядя Федот оправил наспех повязку на раненом и кивнул ему головой.

Кешка двинулся вперед.

И снова пошли они двое — старик и ребенок — безмолвные, хмурые, таящие в себе большую печаль и разрастающуюся священную злобу.

А там, куда шли они, среди дыма и разрушения, среди догорающих огней, в озарении потухающего пожара, среди трупов и крови лежал, раскинув беспомощно руки, человек с ружьем. Его тускнеющие глаза глядели в холодные небеса, на которых утренняя заря стирала гибнущие отблески зарева. Его глаза видели нездешние дали. И он не слышал отдаленного гула возвращающихся победителями товарищей, и он не слышал тихого, но все усиливающегося плача женщин и детей, выползающих из тайников, где укрывались они от злобы и крови, на свои пепелища...

БАБЬЯ ПЕЧАЛЬ

I

Пробежать бы только пашкотину, а там ельник густой, болото, тайга.

Из деревни по пятам (зуд по спине острый ползет!) трескотня ружейная. Над избами дым лезет к небу. И сердце колотится, вот—захолонет, сдаст.

Пробежала. Нырнула в прохладный сумрак. Цепляясь за ветви, перескакивая через кокорник, приминая траву и мхи, вошла и остановилась в чаще. Прислонилась к мшистой ели, дух перевела, руку к сердцу прижала.

И только теперь почувала страх, который прилил к ногам, обессилил их. Только теперь, в безопасности, вздохнула, скривила губы (по-ребячьи), заплакала.

Над елями простерлось раскаленное небо. Август томил сухим жаром. Пахло сожженной хвоей и вереском. В сумрачную тишину леса врывались чужие звуки: оттуда, из деревни, потрескивало и бухало; под деревьями плакала женщина.

Женщину звали Парунькой.

Деревню разрушали казаки.

II

Из полуразрушенного черного овина высунулся лохматый, грязный парень и огляделся. Он посмотрел, послушал, пожурился. Шмурыгнув носом, он уполз обратно в темную дыру и кому-то сказал:

— Вылазь, робя!..

Потом, порывшись в овине, он выполз—высокий, навьюченный сумкой, с винтовкой; за ним выползли двое: крепкие, широкие, светлоглазые ребята.

Все трое встали на ноги, отряхнулись, оправились и поглядели на деревню, которая торчала на взгорье, крылась дымом и потрескивала, и тарахтела.

— Теперь давай бог ноги, робя!.. В ельник, а там на заимку.

Высокий оправил на себе опояску, поднял сумку за плечами, плюнул. Двое других потоптались, покосились на деревню. Высокий зашагал по выжженной траве, за ним пошли другие. К ельнику, к болоту, к тайге...

Когда вошли в лес и тихая, прочная, надежная тишина охватила их, все трое снова остановились, и высокий громко и смачно выругался. И ребята всем сердцем поняли, разгадали его.

— Да!—сказал один:— Пропала Максимовщина! Сожгли, сволочи!..

— Бать, всю не сожгут! — неуверенно (а сам цепляется за надежду!) погадал другой.—Ведь пятьдесят дворов.

— Не сожгут?!—вскипел высокий.—Ты, Тимоха, ничего не понимаешь!.. Они, брат, уж ежели зачнут, так все под чистую кроют... Пропала деревня!..

Сготовила Парунька чай, напоила мужиков. Потом, после чаю, пошел Семен по вискам, вытряхнул из морд окунишек и травянок-щук, заставил Паруньку рыбу потрошить, уху готовить.

И уж после сытой еды, когда размякли, посоловели парни, ухмыльнувшись Семен, оглянул Паруньку и говорит:

— Вот ребята в хребты пойдут. Увязалась ты за ними, пристала, сама лезешь не в бабье дело—ступай... Только перво-на-перво одевай штаны.

— Шта-а-ны?—изумилась Парунька.

— Да, молодуха, штаны!.. Дам я тебе мон, залазь!..

Парни захохотали. Парунька зажглась краской:

— Срамно, будто, в мужичьих штанах...

— Срамно!—вскипел Семен:—А с парнями в пекло лезть не срамно!? Помалкивай лучше!

— Ну, ладно,—вдохнула Парунька:—Одену штаны...

— Стрелять умеешь?

— Из дробовика баловалась по чиркам...

— Коли из дробовика умеешь, стало быть и винтовка у тебя сладится... Ну, пойдешь с ребятами, и уж не пеняй, коли ежели что...

Помолчала Парунька. Потупилась, потом оглядела парней, всех поочередно, словно сверила что-то.

— Мне на что пенять?—вдохнула она, наконец:—Мне деться некуда... В село не вернусь...

— Ну, ступай в куть... Тамо-ка я тебе штаны припас, рубаху, опояску...

Ушла Парунька в избу. Переделалась там. А потом, не ловко ступая носками внутрь, вышла смущенная, смешная, широкозадая.

Похохотали парни, незлобливо погалились над бабой:

— Смотри, дядя Семен, она те штаны-то задом продерет.

— Ишь мясо-то в мотне не уместается!..

— Мякоти экое место нарастила... Мякоти-то, ребята!..

Хохотали. Смущалась Парунька.

Солнце дрогнуло в зените, пошло по хребтам. Переломился день: стали стлаться длинные тени по траве.

Поглядел Семен на небо, спугнул улыбку кривую на обветренном лице:

— Будя, ребята!.. Пора вам в дорогу... Ночевать-то вам ладнее в борках...

VI

Хребты, а на хребтах зеленой, бурой, густой, щетиистой шкурой тайга. Пролегли меж хребтами распадки, лелеют студеную воду горных хребтовых ручьев. По распадкам кудрявятся кустарники, гнутся ягодники, верески, тальники. В распадках хорошо хорониться: от зверя, от гнуса, от людей.

А за хребтами вьется тракт, мелькают столбы телеграфные, тянутся стальные лучи дороги. И хриплым воем, вспыхивая белым дымком, кричат паровозы:

— О-жгу-у!..

Только немощен крик этот против хребтов: ударится в щетину хребтовую, увязнет в мягких склонах, не перепрыгнет хребта.

За хребтами тихо, покойно, раздумчиво.

За хребтами в распадках, у студеной воды, вьется дым живой. Бледным, летним огнем горит костер. Помешивает Паруныка качающийся на тагане котелок: варево ребятам готовит.

Помешивает и думает. Ленивый день стелется от хребта к хребту, лениво кипит щерба в котелке, ленивые мысли у Паруныки.

Вторую неделю бродит она с ребятами по тайге. Вторую неделю ищут парни какого-то партизана Горелова: собирает, говорят, ловкач военный мужичков, от деревни отбившихся, бездомных, ушедших в тайгу. Собирает войско крестьянское. Вот и рыщут парни по тайге, все хребты обшарили—тут где-то гореловские ребята,—а не могут найти.

Деревянной ложкой помешивает Паруныка варево, постукивает по краю котелка: чтобы крупа с ложки отстала—и лениво думает.

А ребята храпят в тени. Умаялись, находились с утра, пришли хмурые, ни с чем, отдыхают, теперь.

Думает Паруныка: ой, вовсе это не бабье дело по тайге с парнями партизанов разыскивать, совсем не бабье. А тут еще ребята балуются. Вторую ночь кто-то притулится, прижмется, бабьего ищет. Оттолкнет Паруныка, а он и уползет. Срамно, а и то понять надо: ребята молодые, крепкие, кровь у них кипит. Да и не насильничают: попробуют, облапят в темноте, а как только отпихнет их Паруныка, так сразу же и уйдут молчком.

Бурлит в котелке, перебегает через края серая пена. Готов обед.

Кричит ребятам, будит их Паруныка:

— Вставайте! Обедать!

Заспанные, взлохмаченные, выползают парни из тени, садятся к костру, к котелку, который ловко сняла Паруныка с тагана. Разбирают ложки, тишутся за широкими ломтями хлеба, круто солят их.

Молча, отдуваясь и потев, едят. Сосредоточенные, злые, упорные.

Наевшись, закуривают. От сытости, от еды, добреют, становятся мягче, разговаривают. Пошучивают над Паруныкой, посмеиваются. Но скоро замолкают, снова задумываются, тускнеют.

И Василий, уставщик, подхватывая неслышно мысли остальных, говорит:

— Куда они запропастились? Тут-ка должны быть. В хребтах...

И все понимают—о гореловских ребятах это он, о партизанах.

— Али за линию ушли?—робко и неуверенно сообразит кто-нибудь.

— Куда бы ни ушли, а все нету их...

Но Василий что-то надумал. Отшвырнул он ветку, которой постукивал по ичигам, и говорит:

— Надо на станцию податься... У верных людей узнать.

— На станцию, брат, не сунешься. Там чехи да анненковцы.

— На станции нас, почитай, все знают... Это прямо в пекло лезть.

Василий оглядел ребят, хмыкнул презрительно:

— Дурни!.. Дак разве я про нас говорю... Нам, известно, туда дорога заказана. А вот Паруныка-то на что? Она—баба,

ей ничего... Придет—и не заметят. Разузнает все, как да что, а потом к нам обратно.

— Вот здорово!—обрадовались ребята:—Ловко ты, Васюха, придумал! Голова!..

Встрепенулась, ожила Парунька:

— Это, значит, мне на станцию итти-то?

— Тебе. Кому больше?

— Ладно вы придумали!—негодующе зазвенел бабий голос:—Это, стало быть, чтоб мне пропадать...

— Зачем пропадать?—примирительно, но сурово сказал Василий:—Коли пропасть тебе там, так рассуди, какой нам резон тебя посылать... Тебя там сволочь-то эта не видывала. Придешь, расспросишь, что надо, да и обратно. Тебе и опаски-то никакой нету...

— Боюсь я...—вспыхнула Парунька:—Без вас, ребята, боюсь...

Парни рассердились.

— Коли боишься, так уходи!..

— Зачем и увязалась! Сказывали тебе... На заимке еще уговаривали: не бабье это дело!..

Парунька ухватила котелок, скидала в него ложки и ушла к речке посуду мыть. Ушла от попреков. И у речки изредка поглядывая оттуда на хмурых парней, раздумывала все своим бабьим умом.

Вычистила котелок, выполоскала ложки, оплеснула студенной быстрой водой руки и, вернувшись к костру, не глядя на ребят, буркнула:

— Сказывайте... Куда там итти-то?

Вывели ребята Паруньку по хребтам на лесную дорогу, показали, как пройти на станцию, оглядели напоследок бабу и ушли в тайгу.

Остановилась Парунька, оправила на себе бабью одежду (снова переделась в привычную лопоть, снова почувствовала себя ловкой Парунька) и зашагала.

Шла тихим и чистым борком, между желтыми стволами сосен, по пахучей знойной павшей хвое. Выходила из глуши, спускалась с хребтов. И уж чуяла жизнь впереди: рывкало хриплое, свирепое:

— О-жгу-у!..

Пришла в деревню при станции. Разыскала верных людей. Рассказала, зачем пришла. Послушали ее опасно, задумались, почесались в затылках.

— Гореловские, говоришь?.. Да здесь где-то бродят... Только опасно пробираться к ним. Вишь, караулы тут... Сторожат. Чехи на станции. Ты, баба, остерегись...

Потом опять подумали. Накормили Паруньку ужином.

И. Г.

Ваночуй. Утречком, бать, разузнаем все как следует.

Шли короткие сумерки. Не зажигая огня, прокоротали летний недолгий вечер. Собрались было укладываться, а тут лай на дворе. Забрякал кто-то в сених, рванул дверь — и в дверях высокий, смутный, неразличимый в полутьме.

— Хозяйка, млеко есть?

Дрогнула Парунька на лавке. Разувалась она, один чирок успела скинуть, с одним чирком на ноге замерла:

— Чех!

А хозяйка засуетилась, зашептала с хозяином, потом тому, неожиданному:

— Какое! Вашим же отдала, а, что осталось, сами за паужном хлебали.

Чех шагнул от порога, зашебарил спичками и осветил избу. И, осветив, сразу увидел Паруньку: испуганные глаза на белом, румянном лице, высокую грудь, рвущую полинялую кофтенку, босую ногу.

— Э! Тут есть краля! — весело сказал он и зажег еще одну спичку: — Давайте лантерну... Огоны!

Хозяйка принесла лампочку. Засветила ее, поставила на стол. Чех прошел к Паруньке и сел возле нее. Он всю ее внимательно оглядел, порылся в карманах, достал нарядную коробочку папирос, закурил.

Хозяева молча притулились возле кути, подальше от Паруньки, от чеха.

Он выкурил папироску и, не переставая разглядывать женщину, сказал коротко, ломая неподатливые русские слова:

— Пойдем гулять... До лесу.

Парунька сжалась и изумленно взглянула на чеха.

— Но? — властно повисил тот голос: — Пойдем гулять.

Хозяйка вынырнула из тени и виновато сказала:

— Сродственница это... Умаялась, оставь ее, батюшка!..

— Дочь? — деревянно спросил чех.

— Нет, свояки мы... Из дальней деревни.

— Не дочь — ходите за печку... Молчите...

И, подымаясь, весь серый, гладкий и уверенный, он потянул Паруньку за рукав. Сухо и скупо улыбаясь.

Парунька повела плечом и прижалась к стене:

— Куда ты меня?.. Отстань!..

— Но! — дернул ее за рукав чех: — Когда чехословак честно на гулянье просит—надо ласкова бывать!..

— Не пойду! — озлилась Парунька:—Не хожу я гулять!..

Чех отпустил ее кофточку, выпрямился и обернулся к хозяйкам:

— До коменданта!

Хозяйка охнула, всплеснула руками:

— Пошто же, батюшка?! Безвинные мы. Зачем же к коменданту?

И дернулась вся к Паруньке:

— А ты, Прасковья, что же ломаешься?.. Не убудет тебя... А тут беда, гляди, доспеет! Сходи, погуляй с хорошим человеком!.. Сходи!?..

Чех неулыбчиво и выжидающе глядел на молчаливую Паруньку, на испуганную хлопочущую хозяйку.

Парунька потянулась за чулком. Медленно стала обувать разутую ногу. Неуверенно, негнуцимыми пальцами затянула завязки,правила юбку. Встала. И, не глядя на людей, бросила:

— Ладно!..

Поздно ночью постучалась Парунька: вернулась. Молча прошла к лавке, где постель ее была постлана. Тихо, беззвучно легла.

Молча затворил после нее дверь хозяин.

А попозже темной тенью метнулась к ней хозяйка. Осторожно подседа на лавку, тронула рукой:

— Не спишь?..

И, почувствовав под рукой вздрагивающее теплое тело и учуяв бабьим чутьем стиснутый, заглушенный (сквозь зубы в постель) плач, прильнула к ней и тоже заплакала, тихо, беззвучно.

VIII

Еще до зари уходил куда-то хозяин.

Вернулся усталый и, пока баба корову доила, задымив себя махрой, рассказал Паруньке, как и где встретиться с гореловскими ребятами, какой знак им подать, чтоб за своих признали, за друзей.

Выслушала, запомнила Парунька и торопливо наладилась в обратный путь.

— Чаю, што ли, не дожدهшься?

— Нет!

— Ну, торопись.... И вправду—торопись...

Прощалась Парунька с хозяевами. В глаза не глядит им, да и они свои-то отводят в сторону.

Покряхтел, потоптался хозяин—и напоследок:

— Зла на нас не держи, молодуха... за вчорошное... Вишь, дело-то какое: поприглядывают сволочи за мной... Этот-то чех — унтер он у них. Попади ему на подозренье, совсем ребята наши в тайге без поддержки останутся. Поняла?..

— Поняла... Прощайте!..

Добралась Парунька до ребят, обрадовала их вестью.

— Вот и молодчага! Разведала! Теперь айда-те к гореловским!..

Оживились парни, закипели, ласково на Паруныку поглядывают. А она пасмурная, серая, невеселая.

— Ты что—притомилась?

— Притомилась... Отстаньте!

Отстали. Не до Паруныки им. Быстро собрались в путь. Но спохватились:

— А ты пошто, Парасковья, не переоблакаешься?

Но Паруныка нахмурилась, подобралась вся, злая:

— Пронадите вы с одежей-то этой!.. Не буду переоблакаться. Как есть баба—в бабьей лопоти и пойду.

И было в Паруныкиной решимости стальное, не бабье, не прежнее. Поглядели парни на нее, махнули рукой, отступились.

— Как хошь!.. Оно, конечно, все едино... Как хошь...

Пошли. Уверенно и бодро зашагали по таежным приметам.

Часа три, а, может быть, и больше—шли хребтами. В глухом распадке неслышно окружили их чужие, недоверчивые.

Сразу же:

— Давайте-ка, ребята, ружья!.. Пока што...

Надулись парни, но ружья отдали. Провели их по глухой тропе к табору. Возле огня люди. И среди них главный — Горелов Сергей.

И когда сказали ему ребята верное слово от верных людей, когда цепким взглядом понял, нащупал он, что свои это, надежные, такие же, как и он и как те десятки, что собрались вокруг него,—похохотал, поблестел крепкими зубами, велел ружья возвратить.

— А бабу зачем притащили? Ребят плодить?

— Баба сама увязалась!

— Сама?

Выдвинулась вперед Парунька, потеребила подол, покраснела, но смело глянула на Горелова:

— Не за этим, батюшка...! Не ребят плодить... В подмогу вам всем!

Горелов оглядел ее, прищурился и весь осветился смехом, ласковым и вместе глумливым:

— На подмогу? Хо-хо!.. Кашу варить, что ли?

— Нет...—тихо уронила Парунька.

И все кругом спрятали улыбки, надвинулись ближе, теснее, затихли.

— Нет, не в стряпухи я... Ружжо давайте! Бить их пойду с вами... гадов этих! Будь они троюпрокляты!.. Бить их!..

И неожиданно пересекся голос у Паруньки, рука потянулась к лицу. К покрасневшим глазам прихлынули слезы. Неожиданно затряслась Парунька: заплакала в голос, навзрыд.

Горелов вытянул шею, взгляделся в Паруньку, чмокнул. Выглядел он что-то в бабьем плаче неумном:

— Та-а-к!..

IX

Сначала от винтовки, от отдачи, саднило в плече, поламывало ключицу. Но привыкла Парунька, научилась стрелять. А, научившись стрелять, стала ходить с ребятами на разведку, стала вместе с другими подкарауливать вражьи разезды и патрули. Стала воевать по-заправски.

А в свободное от ружья время прицелится в какого-нибудь партизана, поглядит, покачает головой:

— Стаскивай, паря, рубаху! Ишь — просалилась-то как! Срамно!..

Заберет у того, у другого бельишко, уйдет на речку, пощется, стирает.

А ребята полуголые ухмыляются: греют бронзовые плечи и груди на жарком солнце, раздумчиво поглядывают на бабу и прячут в глазах теплое, ласковое.

Ночью, когда затихал табор и только мелькала у костра тень часового, часто ловила Парунька (как и раньше — с теми тремя) чужое тело возле себя. Поднималась она, отталкивала невидимого, неузнанного в темноте и полусонно, беззлобно говорила:

— Иди-ка, батюшка, не срамись!..

И уходили безмолвно от нее, безропотные, тихие, в темноте что-то прячущие в себе: может быть, огорчение, может быть — стыд...

Однажды, поздним вечером, когда почти все уснули, пробралась Парунька к ночлегу Горелова. Сидел он и покуривал перед сном.

— Тебе што?

— Так я... — замялась Парунька, но опустилась на примятую вытопанную траву возле Горелова: — Скушно тебе, поди, Сергей Навлыч?

— К чему это ты?

Парунька помолчала. Тьма скрывала ее лицо. Не видно было глаз. И оттого легче было говорить. Но всетаки глух и сдавлен был ее голос, когда она сказала:

— Тяжело тебе, поди, без жепчины?.. Сильный ты, молодой... Хошь, приду к тебе после?..

Горелов отложил в сторону трубку и круто повернулся к Паруньке: в темноте хотел разглядеть лицо, глаза.

— Баловать хочешь? — жестко спросил он.

— Нет, Сергей Павлыч... Мне-то не надо... Я думала— тяжело тебе... кою пору в тайге... Не монах ты... Я тебя, Сергей Павлыч, жалеючи!..

— Жалеешь? — голос у Горелова обмяк. — Из-за меня, стало-быть, хлопочешь...

Он пошарил вокруг себя трубку, взял ее, но не закурил...

— Жалко мне вас... — тише сказала Паруныка. — Ребята крепкие, в смертное дело пошли, а утехи никакой... Я ведь знаю. Ко мне кою ночь кто-нибудь да и не притулится... да я не сдавалась все... А тут, гляжу, ты, Сергей Павлыч, смутный какой сидишь... Жалко мне.

Горелов протянул руку, в темноте нащупал Паруныкино колено. На мягкое тело пали крепкие пальцы: они слегка вздрагивали, но тело было безмятежно, покойно, податливо.

— Я и с ребятами бы не противилась, да боюсь свары... Знаешь, как из-за нашей сестры промеж вас, мужиков, неладное выходит... Одного пожалеешь, а другой какой-нибудь в обиде станет... Ну я и отговаривала ребят: уходите...

Опять помолчала Паруныка. Молчал и Горелов. Но убрал руку свою с теплого колена.

Потом поднялась Паруныка. И, подымаясь, сказала:

— Плохого не мысли на меня, Сергей Павлыч... От сердца это я... Не к баловству.

— Постой! — раздумчиво сказал Горелов. — Погоди...

Паруныка снова опустилась на прежнее место.

— Погоди... Расскажи мне про себя... Вишь ты какая...

Долго рассказывала Паруныка Горелову про себя. Про деревню — теперь сожженную, про девичество свое, про

мужа, с которым недолго прожила и которого на войне убили. Напоследок, закипев обидой и злобою, рассказала про чеха...

... А потом ушла. И, когда замер табор, неслышной тенью вернулась обратно и тихо легла возле Горелова, который не спал и мягко и бережно обнял ее...

X

Липию держали чехи. Путь они оставляли за собою, а верховный правитель—пусть шурует по глухим углам, по тайгам, где копят силы, где Гореловы широкоскулые, кондовые, ловкие ребята.

А в линии-то вся сила. Перерезать путь, раз'единить белых, взорвать мосты, обескровить врагов — вот горячая и крепкая мысль людей таежных.

Мудрует Горелов, обставил себя ребятами бывалыми (под немецким ураганным огнем науку военную прошли) соображает: хорошо бы станцию с обеих сторон отрезать: с обеих сторон мосты вздыбить.

День толкуют, высчитывают, два. По всему табору движение. Все ждут, как падумает штаб самодельный.

Вместе со всеми Паруныка опалена ожиданием. Как услыхала, что задумано отрядом,—сразу и обожгло ее:

— Чех этот там!

И ждет, не дождется: когда же?..

Раздумывали, соображали верховоды, посылал Горелов ребят куда-то, что-то привозили व्यюком дальние крестьяне. И стягивались к табору мужики и парни, бородачи и безусые, рос отряд, гудел, наливался силою.

А потом—началось.

Ночью группами, маленькими отрядами, потянулись люди в разные стороны. В темноте безмолвно и бесшумно, как по звериному следу в жаркую промысловую пору, пошли по распадам, по хребтам, туда, где чутко спала тихая, насто-
жившаяся станция.

Обложили ее, подошедши почти вплотную. И когда где-то вблизи ухнуло, разорвав мягкую тишину ночи, а с другой стороны затрещала пальба — кинулись дикие, внезапно опьяневшие, разбудившие в себе зверя. Кинулись с грохотом, гулом и криками...

Почти до рассвета трещало, ухало и выло. А с первой зарею, с первыми отблесками выкатившегося из-за хребта солнца, все будто сразу затихло: станция была взята.

И тогда Гореловский отряд определил цену своей победы. Большие половины было убито. Трупы лежали всюду: на путях, у станционного здания, у водокачки. И среди своих трупов уцелевшие находили чехов — изуродованных, изрешетенных, с ожесточенными предсмертной яростью лицами.

В станционной комнате, где раньше убогий буфет скупой соблазнил черствыми, запыленными сухарями и почерневшей колбасой, собраны были пленные: начальник станции, несколько белых офицеров и чехи.

У дверей, у окон с разбитыми рамами и стеклами, устало и зло сторожили часовые.

Ободневало. По небу ползли розовые полосы. День пришел греющий, солнечный, августовский.

К часовому у дверей комнаты с пленниками, протиснулась Парунька. Волосы растрепались, вылезли патлами из-

под задымленного и прорванного платка. Рука на перевязи, тряпицей окровавленной завязана.

— Пусти-ка, наряд!

— Куды тебе?

— Пусти! Сергей Павлыч позволил. Опознать мне надобно гада одного...

Отстранился часовой от двери, пропустил Паруньку. За ней—несколько партизан.

На полу, на лавках, хмуро и молча сидели пленные. Они взглянули на вошедших, по лицам прошла судорога: смерть зачуяли. Некоторые отвернулись. Другие, застыв, неотрывно глядели на бабу, которая вошла, обошла всю комнату, перед каждым остановилась, каждого оглядела; и потом к одному:

— Вставай, сволочь!..

Поднялся с усилием серый, окровавленный, взглянул на Паруньку, встретил огненную ненависть в ее глазах, посерел:

— Ага, гадина! — зазвенела Парунька: — Добралась я до тебя, окайнный!.. Добралась!..

Задохлась Парунька от ярости, передохнула, рванула к себе того, найденного, охальника, впила здоровой рукой в плечо и, вскинув голову (повыше ее тот-то!), полным, жгучим плевком плюнула прямо в лицо.

— Вот тебе... задаток... от меня...

XI

... По распадам, по падям, меж хребтов люди. Когда это были на станции? Когда это уходили оттуда с уроном, теряя лучших?

Теперь, по-таежному, в глухих углах, раны зализывать, силу копить, ярость и злобу лелеять в себе.

Хмурые, но не теряющие надежд, укрылись в тайге гореловские остатки. И среди них Парунька. Похудевшая, с незажившей рукой, с испугом каким-то на тусклом лице.

Прежняя Парунька—и не прежняя. Попрежнему обмывает ребят, лохмотья от грязи ополаскивает, попрежнему кашеварам помогает, попрежнему готова здоровой рукой нести винтовку и гореть вместе со всеми злобой борьбы.

Но что-то дрогнуло в бабе.

Когда никого кругом нет—прислушивается она к чему-то. Прислушивается к смутному, неясному, но неотвратимому, что растет в ней, что переплетает свою жизнь с ее жизнью.

Бледнеет, смятеньем охваченная, Парунька: чувствует она в себе новую жизнь. Знает она, что беременна. И бабья, материнская, ни с чем несравнимая радость рушится в ней, замирает: каким-то чутьем звериным, женским, самочьим чует „того этого дитя—окаянного, чужого, насильника“!.. Исполненная отчаянья и горечи, слушает Парунька ей только одной слышимое. Глотает тяжкие вздохи. Глядит, не видя, в желтеющие недра леса. И ждет.

Ждет последнего кровавого крещения. Чтоб утишить безграничную тоску...

<p>РЕН Т. МАРК</p> <p>МЕСС-МЕНД</p> <p>ВОЖДЕ ГЕР- МАНСКОЙ ЧЕКИ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 17 МОСКВА</p>	<p>Н. А. КАРПОВ</p> <p>ГРЫЗИКИ-ХОЗЯЙЧИКИ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 18 МОСКВА</p>	<p>ЯКОБ ВАССЕРМАН</p> <p>ЗОЛОТО</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 19 МОСКВА</p>	<p>А. БЕЗЫМЕНСКИЙ</p> <p>ИЗБРАННЫЕ СТИХИ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 20 МОСКВА</p>
<p>КАРЛ РАДЕК</p> <p>СУН-ЯТ-СЕН</p> <p>КИТАЙСКОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 21 МОСКВА</p>	<p>А. НОВИКОВ-ПРИВОИ</p> <p>ПОД ЮЖНЫМ НЕБОМ</p> <p>РАССКАЗЫ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 22 МОСКВА</p>	<p>М. ГОРЬКИЙ</p> <p>РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 23 МОСКВА</p>	<p>ВСЕВОЛОД ИВАНОВ</p> <p>КОГДА РАСЦВЕ- ТАЕТ СОСНА</p> <p>РАССКАЗЫ И СКАЗКИ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 24 МОСКВА</p>
<p>АЛЬБЕРТ СЫННИ</p> <p>ПОД ВОСТОЧНОЙ ЗВЕЗДОЙ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 25 МОСКВА</p>	<p>Л. СОСНОВСКИЙ</p> <p>МУЗЫКА ОПРОЧЕН</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 26 МОСКВА</p>	<p>В. РУСТАМ БЕК</p> <p>ПОЛЯРНЫЕ ЛЬДЫ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 27 МОСКВА</p>	<p>В. МАЯКОВ- СКИЙ</p> <p>ОБЛАКО В ШТАНАХ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 28 МОСКВА</p>
<p>МИХ. ЗОШЕНКО</p> <p>«ЗВЕРИНЫЕ КОЛОДЕСЫ» ЧЕКИ РАССКАЗЫ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 29 МОСКВА</p>	<p>ВЛ. ВАСИЛЕНКО</p> <p>РАССКАЗЫ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 30 МОСКВА</p>	<p>ВЛ. ЛИНН</p> <p>РАССКАЗЫ О ДВАДЦАТОМ ГОДЕ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 31 МОСКВА</p>	<p>М. ГОРЬКИЙ</p> <p>ДВА РАССКАЗА И СКАЗКИ</p>  <p>ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ РАБОЧИЙ» № 32 МОСКВА</p>

<p>ВЛАДИСЛАВ ВЕЙМАНТ ГДЕ ПРАВДА?</p>  <p>*** Министерство культуры № 17 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>Н. РАФАНА РАВКОРЫ и СЕЛЬКОРЫ</p>  <p>*** Министерство культуры № 17 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>РАБОЧАЯ ГЕРМАНИЯ РАССКАЗЫ РАБОЧИХ ПИСАТЕЛЕЙ</p>  <p>*** Министерство культуры № 17 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>А. АРОСЕВ ОКТАБРЬСКИЕ РАССКАЗЫ</p>  <p>*** Министерство культуры № 16 Министерство культуры Министерство культуры</p>
<p>Л. ТОЛСТОЙ РАБОТА НАД РОМАНОМ „ДЖАБРИСТЫ“</p>  <p>*** Министерство культуры № 17 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>К. ТРЕНЕВ ЗАТЕРЯННАЯ КРИНИЦА</p>  <p>*** Министерство культуры № 16 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>Н. АСЕЕВ РАССТРЕЛЯННАЯ ЗЕМЛЯ РАССКАЗЫ</p>  <p>*** Министерство культуры № 17 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>А. СВИРСКИЙ ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ</p>  <p>*** Министерство культуры № 16 Министерство культуры Министерство культуры</p>
<p>ГЕОРГИЙ ЮДИЧЕВ СНИЗУ ВВЕРХ ПОВЕСТИ</p>  <p>*** Министерство культуры № 17 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>В. РИМАН РАССКАЗЫ</p>  <p>*** Министерство культуры № 16 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>И СОКОЛОВ-МИКИТОВ БЫЛИЦЫ</p>  <p>*** Министерство культуры № 17 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>Л. АВЕРБАХ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ВЕСНА</p>  <p>*** Министерство культуры № 17 Министерство культуры Министерство культуры</p>
<p>ПЕТР ШИРЯЕВ 1905 ГОД</p>  <p>*** Министерство культуры № 17 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>М. ЗОЩЕНКО ТАЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА</p>  <p>*** Министерство культуры № 16 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>Б. САВИНКОВ ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА и СТАТЬИ</p>  <p>*** Министерство культуры № 17 Министерство культуры Министерство культуры</p>	<p>ГЮИ-ДЕ- МОПАСАН ДЕРЕВЯННЫЕ БАШМАКИ</p>  <p>*** Министерство культуры № 16 Министерство культуры Министерство культуры</p>

Цена **15** коп.

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ «О Г О Н Е К»

Еженедельно **ОДНА** книжка:

1 мес.— 50 к., 3 мес.—1 р. 50 к., 6 мес.—3 р., 1 год —5 р.

Еженедельно **ДВЕ** книжки:

1 мес.—1 р., 3 мес.—3 р., 6 мес.—5 р., 1 год—10 р.

Москва, Тверской бульвар, д. 26, телеф. 5-51-69.

Акц. Изд. О-во «ОГОНЕК».